

ЧУВСТВО СТИЛЯ

У Плисецкой оно было врожденным, но проявилось не сразу, не в детстве. Ее детство было, как у многих, коммунально-уплотненным, бедным, беглым. Все пытались убежать от нищеты, кое-как извернуться. Хорошую одежду не покупали — ее доставали с большим трудом, через знакомых, и было ее мало. Носили что придется. Плисецкая запомнила, как горевала мать, узнав, что она пустила новенькие белые сандалики вниз по реке, — она с таким трудом их достала. И еще запомнила ее слова: «Тяжелые, тяжелые времена». Все тогда так говорили, качали головами, пытались выживать под мажорные, душераздирающие звуки светлого будущего, лившиеся из радиоприемников. Родители в него почти не верили. Не видели пламенеющего горизонта. За поворотом истории ждали гнетущие бедность и страх.

Впрочем, страхи маленькой Майи были иными — вещественными. Одежду в семье берегли. Когда толстые пальто и шубы отправляли на зимнюю спячку в кладовку, их сдобно обсыпали нафталином, говорили: «Чтобы не съела моль». Осенью няня Варя и мама вытаскивали вещи из коробов и причитали: «Опять моль поела. Ничто ее не берет. Эта моль ест все!»

Моль ест все. Ужасная, огромная, злая, со страшной пастью и цепкими клешнями, пахнущая лекарствами, горькой осенью, нафталином. Она ест все. Это значит, думала трехлетняя Майя, моль ест и детей. И ее тоже непременно съест. Она пугалась до слез и все ждала: вот распахнется дверь, и влетит гигантская голодная моль. Потом, конечно, пришло разочарование: всеядный кошмар оказался невзрачным мотыльком, питавшимся шерстью.

Еще воспоминание, как легкий полупрозрачный шлейф, — длинная, нескончаемая, шелковая музыкальная волна, голубая лента, которую ей вплетали в косу и вязали пышным бантом. И еще одно — смешные «бегемотики», аккуратные мягкие башмачки со скругленными носами. В них она танцевала на полупальцах на Сretenском бульваре под нестройный вальс из «Коппелии», выдуваемый оркестром курсантов. Она легонько семенила, смешно подпрыгивала под одобрительные хлопки взрослых и в конце дивертисмента изящно делала реверанс. Протерла

башмачки до дыр и опять расстроила бережливую маму. Тяжелые, тяжелые времена.

Родители, конечно, разглядели талант. После триумфальных выступлений на Сретенке и протертых туфельек решили отдать ее в Хореографическое училище Большого театра. В 1934-м сдавала экзамен. Едва себя помнила от волнения, но запомнила наряд — весь белый: платье, носочки, бант. Из неоклассического строя выбивались коричневые сандалики — белые, как мы помним, уплыли вниз по реке. Ее судьбу на экзамене решил незатейливый реверанс (отрепетированный на Сретенке). Он так понравился директору училища, Виктору Семенову, что тот решил сразу: Плисецкую нужно брать.

Детство кончилось в тридцать седьмом, в апреле. Она хорошо запомнила те несколько дней. Запомнила окрыленного, совершенно счастливого отца. Ему, опальному, исключенному из партии, уволенному со службы, неожиданно выдали пропуск на кремлевскую трибуну: 1 мая он будет смотреть парад вместе со Сталиным! Значит, прощен, значит, можно работать, жить. Мама тут же расчехлила швейную машинку — осталось всего два дня, нужно смастерить дочери что-то красивое, в оборках и воланах, достойное кремлевской трибуны. Она задумала платье в истово сталинском парадном цвете — белом.

Плисецкая помнила радостный швейный стрекот, звуки оголтелых маршей, зелень, солнце и шум оттаявшей, весенней, счастьем нажившей жизни. А потом была ночь с 30 апреля на 1 мая. Скверно написанный, всегда один и тот же сценарий: топот сапог на лестнице, удары в дверь, черные плащи, мерзкие красно-синие фуражки, обыск, все вверх дном, плач разбуженных детей, трусливый шорох соседей. Беспомощный, растерянный отец: пиджак на майку, брюки, перехваченные дрожащим ремнем, чемодан в охапку, воронок. Отец исчез.

В начале марта тридцать восьмого арестовали мать и вместе с грудным ребенком отправили в Акмолинский лагерь. Майя, к счастью, осталась в Москве — ее удочерила тетья, Суламифь Мессерер, именитая балерина, ставшая покровительницей и хореографической наставницей. Плисецкая продолжала учиться. Весной сорок первого вернулась мать, а летом началась война, их эвакуировали в Свердловск. В 1943 году Майя успешно закончила училище, ее приняли в труппу Большого театра. Первая мечта сбылась.

Жили очень бедно, ютились в коммунальной десятиметровой комнатке дома № 8 в Щепкинском проезде. Плисецкая зарабатывала крохи,

но помогала братьям-школьникам и матери. Уже тогда она пыталась хорошо, по-особенному одеваться. Чувство стиля, развивавшееся стремительно вместе с пластикой и балетной техникой, помогало сочетать цвета, детали. Советский навык выживания подсказывал, где и что достать. Умела находить, училась носить. В голодные, скудные сороковые выработывала свой стиль, утонченный, царственный, сознательно анти-советский.

БУНТАРСКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Плисецкой повезло. Она все-таки работала в Большом театре, где трудились лучшие в стране костюмерши. В их мастерские со всего Союза свозили текстиль, пуговицы, атласные ленты, кружева, прочий дефицит для будущих сценических костюмов. Грех не воспользоваться благами.

Зрелые этуали по секрету друг от друга заказывали костюмершам кое-что для себя. Платили по-царски — и за работу, и за дорогой материал, и за драгоценное молчание. Бедным юным танцовщицам приходилось терпеть и копить. Плисецкая терпела и копила. Шутила: «Диета помогает одеваться». Она отучила себя много есть (хотя очень это любила). Блюла фигуру и собирала деньги на новое платье от театральных портних.

Среди любимых мастериц была Нина Халатова, балерина Большого, а в свободное время — швея и модистка. На сцене она почти ничего не достигла, но продвинулась на костюмном поприще, кроила профессионально, всегда придумывала что-нибудь эдакое — для себялюбивых актрис. Говорили, что мать Халатовой была белошвейкой и научила этому ремеслу дочь. Плисецкая очень ее хвалила.

Шляпы заказывала у Раисы Капустянской, услугами которой пользовались многие московские артистки. Вероятно, балерину с ней познакомил брат модистки Григорий Капустянский, именитый фотограф. Он часто снимал Майю, начиная с «Раймонды» 1945 года.

В конце сороковых о Плисецкой заговорила партийно-модная Москва: да, молодая, и не без таланта, но дерзкая, смотрите, как одевается, что ни платье — то вызов, она же комсомолка, зачем так выделяться?.. Цековские дамочки цокали, фыркали, завидовали красоте, юности, утонченному чувству стиля, который Майя превратила в орудие борьбы с системой. Она была не такая, как все. Одевалась не так, как все, хотя все (и даже самые первые среди равных) одевались у тех же Халатовой и Капустянской.

Выделяться помогали пестрые восточные шелка. Она купила их, очень удачно, в 1954 году во время гастролей в Индии, в ее «первой всам-

делишной загранице». До этой поездки балерина выступала в странах соцлагеря: ГДР, Венгрии, Чехословакии. И вот наконец ее выпустили в некоммунистическую страну. В конце гастролей вырвалась в магазины и накупила «расписных цветастых материй». Выбрала те цветочные мотивы, которые индийцы, вероятно, скопировали со знаменитых текстилей Рауля Дюфи для лионской компании Bianchini-Ferrier. Они вновь вошли в моду в пятидесятые, когда в Европе расцветал диоровский ню-лук. И в этом ее выборе уже ощущалась тяга к французскому стилю, с которым она познакомилась только в шестидесятые.

Плисецкая выделялась из смутной советской толпы не только нарядами. У нее были дивные, густые волосы рыже-каштанового оттенка. Говорили, что, когда она злилась, шевелюра становилась ярко-медной. Дамочки, особенно седеющие этуали, брали балерину под локоть и заговорщицки шептали: «Слушай, где ты достала стрептоцид, поделись секретом, я никому не скажу, обещаю». В те времена таблетки красного стрептоцида разводили в воде и втирали в волосы, чтобы добиться неистово-рыжего оттенка. Хна, как и многое другое, была в дефиците. Впрочем, стрептоцид тоже. Его доставали, и потому этуали изводили Майю тихими настойчивыми вопросами. И конечно, не верили искреннему ответу: «Я от природы такая!»

От природы дерзкая, рыжая, яркая, она блистала на кремлевских раутах — огненная, статная, непременно в чем-нибудь эдаком, немного даже театральном. В 1955 году явилась в норвежское посольство в искристо-белом длинном парчовом платье со смелым декольте, которое, впрочем, стушевала тюльмариновым шарфом. Ворошилов потел и не находил слов, Булганин сверлил глазами и обкладывал грубыми комплиментами. Она всем понравилась.

Канун 1956-го, новогодний бал в Кремле. Плисецкая в белом гипюровом, слегка эротичном наряде, тонкая, невыносимо рыжая. Хрущев, партийцы, зарубежные дипломаты слетелись, окружили, возбужденно жужжали черно-белыми шмелями. И столь же дружно кремлевский мир насекомых реагировал на сиреневое вечернее платье, в котором Плисецкая расцветала на раутах и приемах в середине пятидесятых. В те годы ее жестоко не пускали на зарубежные гастролы, и выходы в броских нарядах были ее своеобразными сольными выступлениями протеста. Партийцы, далеко не такие глупые, как принято думать, улавливали в этих вызывающих, драматичных явлениях что-то бунтарское, но не могли нащупать, в чем оно крылось. Хрущева они тоже беспокоили. Однажды

он решительным шаром подкатился к балерине и резко, со всего маху впелил: «Слишком вы красиво одеты. Богато живете?»

Она производила такое впечатление и вопрос этот сочла комплиментом. Если даже «сам» отметил ее стиль, красоту и богатство, значит, бунт удался. Это была победа против гнетущей системы. Но каждая такая победа рисковала оказаться пирровой: немой костюмный бунт обходился дорого.

«Элегантность давалась кровью», — вспоминала балерина. Не преувеличивала. Приходилось соглашаться на любые концерты, даже в захолустных пролетарских клубах с разбитыми полами, сломанным роялем и случайным людом в зрительном зале. Приходилось терпеть мучительные изматывающие перелеты в тряских «Яках», ужасные автодороги, прокуренные плацкарты, холодные залы, необустроенные гримерки и даже их полное отсутствие, боль в спине, ногах, руках. Но бунтарская элегантность стоила жертв.

Плисецкая многим жертвовала ради изящных и очень редких в Советском Союзе заграничных вещей. Покупала их у Клары, фарцовщицы от бога и от партии. Ее знала вся «оттепельная» Москва. Фарцовщица Клара, без прошлого, без рода и фамилии, появилась как бы из ниоткуда, обрела важных покровительниц, развела бурную торговую деятельность.

Покровительницы, богатые жены и родственницы партийных бонз, сбывали Кларе то, что доставали в благословенной загранице или получали в подарок от супругов. Фарцовщица зло с ними торговалась, сбывала цену, выкупала вещи с большой скидкой. Потом, конечно, цену накручивала, предлагая «экслюзив» из Парижа, Лондона, Шанхая платежеспособным клиенткам «из невыездных», среди которых была и Плисецкая. Она знала все Кларины фокусы, знала, что обманывает, накручивает, что иногда продает секонд-хенд, выдавая за «свежайшее, только из бутика». Но кто еще в советской Москве, где сажали за фарцу, мог достать заветное платье нью-лук от Dior, искусную шляпку Patchett, элегантную накидку Lanvin, блузку от Cardin, перчатки, сумочки, туфельки-стилетто, а еще нижнее белье, телу ведь так хотелось изнеженного нездешнего комфорта.

Но вот добротных заграничных мехов, без которых в стильной Москве не прожить, она себе позволить не могла. Приходилось изворачиваться. И голь была на выдумку хитра.

ШУБА ДЛЯ КАТАНЯНОВ И ДРУГИЕ «ЗВЕРИ»

Майя Михайловна любила меха и умела их носить. Ей безумно шли аккуратные каракульчовые шубки в стиле «мини» с шалевым воротником. В длинных манти из лисицы, куницы, песца она выглядела, по словам Ричарда Аведона, «настоящей русской цариной». Этот известнейший американский фотограф разглядел в Плисецкой талант позировать в мехах. В 1959 году он сделал для журнала Harper's Bazaar серию фотографий, на которых прима предстала в драгоценных шубах от известного дома Emeric Partos. О таких балерина тогда могла лишь мечтать и позировать для рекламы.

В сороковые — пятидесятые она носила шитые-перешитые меха, которым регулярно продлевала жизнь. Семь лет кряду проходила в «старом облезлом манти», которое прежде принадлежало ее тете Суламифи Мессерер. Когда-то это была симпатичная вещица, сшитая безымянным мастером средней руки из добротной серой каракульчи. Теперь оттенок едва читался, подкладку много раз меняли и называли эту вещь «манти» скорее в шутку, кисло иронизируя.

Периодически оно попадало в мастерскую театрального скорняка Миркина на починку. И каждый раз, когда Плисецкая тихонько, с извинениями, переступала порог его жреческой пещеры, завешенной дикими шкурами, начинался диалог, достойный пера Гоголя. Плисецкая на полупальцах семеня к столу, у которого камлал Миркин, вытаскивала шубку и под неодобрительное сопение скорняка раскладывала ее на столе. «Опять», — гундел жрец, глядя из-под очков. Плисецкая заикалась: «Да, мне бы вот... Здесь вот прорвалось. Надо бы, Миркин... поправить. Починить надо бы». «Но, барышня, сие невозможно, — входил в роль скорняк. — Это черт знает что такое, а не вещь. Ее надобно уже того — в расход. Починить никак невозможно-с».

Плисецкая не отступала — Акакию Акакиевичу ведь удалось уломать Петровича. Миркин уступит, нужно терпение. После нескольких туров вокруг манти, уговаривания и щедрых доз женского обаяния скорняк театрально сдавался, сопел, гундел, важно отдувался: возьмет, сделает,

ладно. Закусив губу, он терпеливо, волосок за волоском перебирал истлевший мех, слегка укорачивал, чтобы не осыпался низ и не облысели бортики. Аккуратно вшивал клинья. Делал шубку на два-три года моложе.

Майя Михайловна не только продлевала жизнь своим «собоям». Иногда ее истертые советские шубы помогали выживать друзьям.

Эту историю я знаю от моей бабушки Ольги Николаевны Пуниной. Еще в 1920-е годы она коротко познакомилась с Лилей Брик. Тогда они обе увлекались искусствоведом Николаем Пуниным. Брик ненадолго стала его любовницей, а бабушка вышла замуж за его младшего брата Льва, моего деда. В послевоенное время, когда Ольге Николаевне удавалось выбраться в Москву, она виделась с Лилей Юрьевной, ее супругом, писателем Василием Абгаровичем Катаняном, и его сыном Василием, режиссером. Вспоминали веселые двадцатые, Маяковского, Ахматову, Пунина (бабушке казалось, что Брик все еще его немного любит). Говорили о современной музыке, балете, о Плисецкой, которую, конечно, обожали. Однажды рассказали бабушке историю о том, как балерина спасала Василия Катаняна-младшего и его маму Галину Дмитриевну от голода.

Это было, кажется, в самом конце сороковых. Тогда Плисецкая носила элегантную шубу из чернобурки, за которую несколько раз получала мягкий выговор от руководства Большого театра за «некомсомольский» вид. У Плисецкой в ту пору был весьма скромный заработок, средств не хватало, но она умела помочь и своей семье, и друзьям.

Хороший знакомый Вася Катанян, только окончивший ВГИК, обратился к ней со стеснительной просьбой дать немного в долг. Им тогда жить нелегко. Отец Василий Абгарович в конце тридцатых ушел к Лиле Брик, и мать наотрез отказалась с ним видеться и принимать от него помощь. Лиля Юрьевна, дама свободная от старомодных «принципов», искренне не понимала этого решения, пыталась их примирить, звонила, утешала: «Ну и что, Галочка, подумаешь, ну, поживет у меня, потом к вам вернется. В этом нет ничего...» Мать даже не дослушивала — бросала трубку.

Словом, денег у Катанянов не было, и Василий попросил взаймы. Что делать? Балерина тоже едва сводила концы с концами, но отказать нельзя. Шуба! У Плисецкой ведь есть шуба из чернобурки, неплохая, еще не тронутая тлением и Миркиным. А что, если ее заложить в ломбард? Лето не за горами, шубе все равно пылиться на антресолях. Катанян-младший с благодарностью принял помощь и сделал как договорились: отнес вещь

в ломбард и получил нужную сумму. Через месяц дела у Катанянов наладились, они выкупили шубу и вернули ее владелице. Но деньги быстро закончились, и Плисецкая опять вытащила шубу, и опять был ломбард.. Эта операция повторялась, по словам Катаняна, несколько лет кряду. А потом, когда чернобурка совсем истлела и Миркин наотрез отказался ее оживать, Майя отдала ее своей маме, и та украсила полоской меха воротник своего жакета.



[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

